

Эти механизмы сегодня перестали действовать; но они напоминают о себе, и память о них, как память о всяком фантазматическом потерянном рае или золотом веке, вызывает ностальгию – то по активизму, то по чувству свободы, возникающему в краткие, но тем более ценные моменты ухода в природу, то по радости полного общения и взаимопонимания.

Дмитрий Торшилов

Рыбы Кратета

...без пафоса, но с кока-колой, детскими игрушками, кроватками, унитазами, со всеми теми вещами, которые составляют дух современной философии.

О. Аронсон

В золотом веке люди не работали. Земля приносила необходимые им плоды *сама собой*, αὐτομάτη, в достатке и изобилии (Гесиод, «Труды и дни», 118). «Αὐτόματος» (лат. sua sponte) может означать «по своей воле», о чем, если верить Шантрелю, свидетельствует этимология. «Αὐτόματος» говорят о росте растений, о течении реки или о роднике (в Аргосе был ключ *Автомата*¹), который бьет *сам собой*. «Αὐτόματος», наше «спонтанно» или «своим ходом», можно сказать о человеке, пришедшем без предварительной договоренности или оказавшемся здесь случайно. Субстантивированное τὸ αὐτόματον, слившееся даже в разговорное ταῦτόματον, означает случайность и преимущественно счастливую случайность, благоприятный ход вещей: коринфянин Тимолеонт, уничтожив в Сиракузах тиранию, построил для граждан святилище Автоматии, *Счастливого хода вещей (помимо всяких тиранов)*. Тимолеонт почитал Автоматию вместе с посылающим удачу и благополучие Ἄγασθς Δαίμων (Благим Демоном, если переводить на традиционный русский, а на самом деле просто *хорошей [сверхъестественной] силой*). Эту *хорошую [сверхъестественную] силу* никогда не

¹ См.: Callim. fr. 62 Pfeiffer.

конкретизировали дальше, не давали ей ни имени, ни пола, ни вида, ни сюжета, но зато посвящали первый день каждого месяца и первое возлияние на каждом пиру².

Наконец, «αὐτόματος» может быть сказано и в том контексте, которого ожидают носители современных языков: о самоходных предметах работы Гефеста – треножниках, которые сами приходят и уходят, когда нужно (Σ 376), или воротах Олимпа, которые *сами собой* открываются перед кем нужно (E 749). Однако и эти изделия божественного мастерства отличны от наших *автоматов* по меньшей мере тем, что не портятся и не ломаются: сделанные Гефестом собаки были *нестареющими и бессмертными* (η 94), хотя остается неясным, были ли живыми в каком-нибудь смысле слова. Лучше воздержаться от выбора одного из значений в трактовке действий земли у Гесиода: *по своей воле, по естественному закону, по счастливой случайности, по замыслу создателя*, – ведь в любом случае тот, для кого действие является αὐτόματος, не знает его причин и механизмов, не контролирует их и именно об этом в первую очередь и говорит.

Греческий язык так и не стал различать на словах миф и басню, а если попробовать непредвзято различить их *post factum*, то притча о пяти веках³, лишенная имен собственных, но слишком явно посылающая слушателю нехитрую аллгорию, окажется скорее в области басни, чем среди мифов в узком смысле слова. Чужую для высоких жанров, для героического эпоса и трагедии тему золотого века в классический период любят комедиографы, а в эллинистический она достается буколической поэзии, пасторали (ведь *буколика* это *humile genus dicendi, низкий стиль*).

Хотя представление о блаженной дикости, о возможности довольства тем, что природа – в наш железный век – все же дарит сама, вполне знакомо древним и засвидетельствовано как комедией⁴,

² См.: Plut. Timoleon 36, 6; de laude ipsius 542E 6; praeserta gerendae rei publicae 816E 5.

³ На самом деле «рода», «породах» (γένος) и не пяти, а четырех.

⁴ «Золотой век» Эвпоида был посвящен циклопам, живущим в пасторальной дикости (fr. 288 Edmonds).

так и пасторалью, гесиодовский рассказ имеет в виду не его. Люди золотого века живут, по Гесиоду, в «прекрасных городах», а приносящая плоды сама собой земля названа «ζείβωρος ἄρουρα», выражением, которое все же значит «дающая урожай пашня» (может употребляться расширительно – просто «земля»). Καρλός, который она приносит сама собой, это не какой-то вообще *плод*, но именно *урожай*, и этот парадокс плодов цивилизации без механизмов цивилизации осознавался и заострялся писавшими о золотом веке позже. Вергилий в четвертой эклоге заканчивает рассказ о возвращении золотого века описанием овца, шерсть которых *сама собой, sponte sua*, пока они еще живы, красится у одних в желтый, у других в красный, у третьих в синий цвет, так что ее не нужно потом красить красильщикам. Это самодействие возвращается постепенно, точно по мере отмирания цивилизации: пурпурную краску нужно вести из Финикии, но мореплавания уже нет, да и процедуры ее изготовления невозможны, и ягненок покрасится в пурпур сам. Только тогда, по мысли Вергилия, пурпур наконец станет настоящим: *nes varius discet mentiri lana colores* (42), *и шерсти больше не нужно будет учиться лгать разными цветами*: окрашенная шерсть жлет, а ягненок, который вырос пурпурным, правдив. Только кисельные берега молочных рек состоят из истинного киселя.

Так мы сталкиваемся с животным золотого века. Оно – в терминологии железного века – дикое, но ведет себя как домашнее. Оно более чем домашнее: в него уже включено все, что может сделать с ним не только искусство одомашнивания, но и любое другое. Оно не нуждается в одомашнивании, чтобы стать дружественным, как не нуждается в умерщвлении, чтобы стать объектом и материалом искусства. Оно и не становится ни объектом, ни материалом, достигая любой степени искусности в порядке *Автоматии* и вписывая ее, как благу случайность, в этот порядок.

В разговоре о стиле проблема совпадения вершин искусства с естественным – это проблема аттицизма. Комедиограф Ферекрат, которого Афиней (VI 96 = 269B) называет «ὁ Ἀττικώτατος», *Господин Аттичнейший*, изображал животное золотого века следующим образом:

ῥῥαὶ κίχλα γὰρ εἰς ἀνάβραστό ἤρτυμένα
 περὶ τὸ στόμα ἐπέτοντο ἀντιβολοῦσα καταλιεῖν,
 ὑπὸ μυβήναισι κἀνεμώναισι γεχυμένα.

*Вареные дрозды, искусно приготовленные в кипятке (?),
 Летали кругом рта, наприщавясь, чтобы их свели,
 Под миртовыми ветвями среди анемонов.*

(fr. 108 Kock, l. 23–25)

Мы не в состоянии уточнить конкретику аттического искусства приготовления дроздов. Во всяком случае, πτός не значит ни «жареный», ни «вареный», но «приготовленный, не-сырой» вообще, а ἤρτυμένος εἰς ἀνάβραστα, *доведенный точно до кондиции кипячением* (?; полустушище неоднократно подвергалось конъюнктурам), указывает на конкретный способ приготовления птицы, часто упоминаемый комедиографами – ἀναβράσσειν τὰς κίχλας αἰεὶ τὰ ὄρνιθια κρέα. Ясно, что дроздов никто не варил: они стали готовыми и приправленными так же, как вергилиевские овцы стали разноцветными.

Летящие в рот дрозды были хорошо известны афинской публике – в Афиневой подборке цитат из комедиографов они упоминаются еще дважды. Но они не самые частые персонажи этих описаний банного и пиришественного благоденствия. Больше всего среди них утвари – мочалок, горшков, кастрюль и пр. Они ὄμοιοπόρῳτα, *путешествующие* или *странствующие*, как важно объясняет один персонаж Кратета другому (fr. 14 3), т.е. ходячие. Это немудреное объяснение гесиодовского αὐτόματος, а само αὐτόματος обнаруживается у Телеклида как обща характеристика процесса (fr. 1 3). Поскольку ремесленников не существует, ясно, что эти мочалки и эти кастрюли, в отличие от Гефестовых тренажников, никто никогда не делал: они не утварь, они такие же животные золотого века. Таким же животным является и вода, которая у Кратета сама бежит в бане куда нужно. Телеклид делает воду для умывания символом всей эпохи: εἰρήνη μὲν πρῶτον ἀπ'αὐτῶν ἦν βόλτηρ ἕδωρ κατὰ χεῖρας, *вначале у всех был мир (εἰρήνη – мир, покой, благоденствие), как вода для умывания* (ibid. 1 2). Если не иметь в виду, что она притекала сама, строка вообще непонятна.

Комедия Кратета так и называется Θηρία, «Животные», «Звери», хотя эти ли животные имелись в виду, неизвестно. Эдмондс, издатель фрагментов, полагал (по аналогии с аристофановыми «Птицами»), что из говорящих, как в басне, и дружественных диких зверей состоял хор комедии. Во всяком случае, у Кратета мы наконец находим животное золотого века в расцвете его сил и способностей. А в расцвете своих сил и способностей животное золотого века не только все понимает, но даже может сказать:

ἰχθύ, βιάδιζ. ἀλλο οὐδέλω ἤτι θάτερα ὀπτός εἰμι.
 οἴχουν μεταστρέψας σεαυτὸν ἀλὶ πλάσις ἀλείφων;

*«Рыба, иди сюда!» – «Но я еще не с обеих сторон поджарилась...» –
 «Так что ж ты не перевернешься и не натришься солью?»*
 (fr. 14 l. 9–10 Kock)

Мысль о том, что рыба Кратета испытывает на сковородке какие-либо неудобства, конечно, должна быть отброшена сразу. Она испытывает не больше неудобств, чем вода в ручье от того, что течет. Не менее наивно думать, будто рыба Кратета является рабом человека, собирающегося ужинать. Хотя и Афиней приводит свою подборку о золотом веке в рассуждении о рабах и о празднике Кроний (римские Сатурналии), на время которого золотой век возвращается (в Новейшее время обычно вспоминают только ту деталь, что рабское состояние в эти дни отменялось), тем не менее человек не имеет контроля над рыбой Кратета. Его глупых приказаний, как свидетельствует фрагмент, она не выполняет и перевернется только тогда, когда дожарится с этого бока точно до кондиции. И трудно вообразить, чем ее можно было бы выпороть, когда плетки тоже являются *путешествующими* по собственному – а не хозяйскому – разумению. Не получится и наградить ее за службу, и отпустить на волю.

Откуда же рыба Кратета, не изучавшая кулинарного искусства, знает свою кондицию? Может быть, как полагал платоновский Парменид, приезжавший в Афины примерно тогда же, когда ставились комедии Кратета, около 450 г. до Р.Х., ἐκ νομμάτων

Ἐκαστον εἶναι καὶ πάντα νοεῖν, каждая [вещь] состоит из мыслей и мыслит всё (Plat. Parm. 132C 10)? Жарящаяся рыба состоит из идеи жарящейся рыбы, заключает в себе идеальную сумму знания о жарящейся рыбе и транслирует ее по первому требованию. Как Архестрат из Гелы, она могла бы написать трактат или дидактическую поэму о жарке рыбы, и ее предисания были бы единственно и исчерпывающе верны. Кентавр Хирон на Пелионе, говорят, давал наставления по ветеринарному искусству⁵, которое знал в силу знания собственной природы – точнее, в силу того, что его мудрая природа прямо и состояла из знания самой себя, знания, к которому, следуя дельфийскому завету, тщетно стремятся философы и которое свойственно постулированному ими Уму-Нусу и эйдосу, мысли вещи о том, что она есть. Эти наставления легли в основу европейского ветеринарного искусства.

Но Хирон говорил своей человеческой половиной, которой у рыбы нет. Рыба Кратета говорит, нарушая не только общий принцип бессловесности животных, согласно которому греческий язык и называет их «ἄλογα ζῆα», *бессловесными* = *неразумными*, буквально – *не имеющими логоса живыми существами* (в отличие от человека, ζῆον λογικόν, *живого существа с логосом*), но и вполне известный современникам Кратета принцип немоты рыб (ср. Emped. F 5 DK). Впрочем, в Греции водились рыбы, которые куковали, как кукушки (Opp. Hal. I 97), а также некие *пеструшки*, певшие в Ароании в Аркадии, как дрозды. Павсаний пишет, что видел их пойманными, но пения не услышал, хотя сидел у ручья до вечера, когда они, как говорят, обычно поют (VIII 21, 2). Можно отыскать по источникам и других рыб, издававших разные звуки в порядке *парадоксографии* – рассказа о диковинах природы, которая всегда поддерживает наше любопытство опровержением собственных привычек. Но говорит ли рыба Кратета в порядке парадоксографии? Конечно, нет: ее речь не вызывает ни малейшего удивления и любопытства. Она вообще даже не относится к *естественной истории*, маргинальным отделом которой является

⁵ См.: Hippiatrica Berolinensia, I 9 l. 15; I 24.

парадоксография. Естественная история невозможна в золотом веке: о животном золотого века нельзя знать больше или меньше, и поведение его не может быть расценено как привычное или непривычное.

Не имеет смысла также спрашивать, говорит ли рыба Кратета ртом, языком или помимо него. Как слова комедиографов о том, что эти рыбы сами приходят из моря на кухню, вовсе не подразумевают, что у них есть ноги (это тоже было бы парадоксографией), так и возможность говорить не подразумевает ни инструмента, ни условий, ни других способов ограничения или опровержения собственной невозможности. Единственно, что в золотом веке невозможно, это невозможность, а значит, и все, что ею подразумевается.

При этом вполне возможно, что она все-таки говорит именно ртом. Относится ли она тогда к тем животным, у которых, по мнению Хрисиппа, есть *произносительный логос*: «Говорят, что человек не произносительным логосом отличается от неразумных (= лишенных логоса) животных, – ведь вороны, попугаи и сойки произносят членораздельные речи, – но расположенным внутри»⁶? Можно ли предположить, что рыба Кратета, несмотря на всю уместность ответа, не знает своей кондиции, не понимает того, что она говорит, а уместность происходит только в силу *автоматии*, как у попугая, когда его реплика неожиданно попадает в точку? Тогда *автоматия* – только повсеместная и постоянная удача, сопутствующая вещам и делающая их уместными. Она подобна Уму-смыслу, изобретенному другим современником Кратета, Анаксагором: анаксагоровский ум вполне отделен от вещей, но всегда приводит их в порядок. Он не отпустит рыбу со сковородки недожаренной, сколько бы мы ни просили, и не позволит пережариться, а сам никогда не будет пойман за хвост. А тогда, возможно, его и вовсе нет, и *автоматия* происходит в силу, например, хаотического движения атомов.

⁶ Φασὶν ὅτι ἀνθρώπος οὐκ ἔχῃ προφορᾷ λόγῳ διαφέρει τῶν ἀλόγων ζῴων (καὶ γὰρ κίρκας καὶ ψιττακοὶ καὶ κίττα ἐνάρθρους προφέρουσι φωνάς) ἀλλὰ τῷ ἐνδοτέτῳ (Chrysipp. SVF II 135 = Sextus adv. math. VIII 275).

Но эта трактовка убивает комический эффект, и рыба Кратета перестает радовать хозяев дома. Во всяком случае, собеседник рыбы явно этой трактовки не принимает, иначе бы он с ней вообще не разговаривал и не хвастался, рассказывая о ней другим. Действия рыбы Кратета не управляемы извне и не случайны, но полны смысла, и этот смысл – даже не безотказное выполнение желания человека (она же отказывается прийти недожаренной или мгновенно обернуться дожаренной), но продвижение к лучшему, без усилий обходящее возможные изъязны.

К метаморфозе, кстати, животное золотого века вообще не способно. В этом смысле оно антимифологично: оно не вступает с человеком в отношения подобия, подражания, превращения или скрещивания. Невозможна гибридизация и переход одного в другое: будучи максимально приближено к человеку, приставлено к нему вплотную во всех деталях его существования, животное золотого века всегда отделено от него барьером полной стерильности. Принимая на себя все его функции, кроме благоденствия, оно делает ненужными любые продолжения и модификации.

Никто не приводит причин конца золотого века. Его не объясняют ни наказанием, ни внутренним конфликтом, ни неким положенным сроком. Остается только предполагать, что золотой век кончился также в силу *автоматии*, без причин, сюжетов и механизмов. Населявшие его люди стали «священными демонами, обитающими на земле... прекрасными, защищающими от зла, стражами смертных людей, дающими богатство»⁷. Эти демоны, живущие на земле (а не с богами на небе или под землей), плохо зафиксированные другими источниками по греческой религии, обычно составляют проблему для комментаторов, но в любом случае они родственны тому *Благому Демону*, которого Тимoleon почитал вместе с Автоматией.

Став этими демонами, люди золотого века так же безмянны, бессюжетны и неотличимы друг от друга, как были при жизни. В отличие от людей века героев, т.е. обычного мифологического

периода, люди которого после смерти или после конца эпохи обнаруживают себя, в частности, как животные, люди золотого века не становятся животными, пусть даже родными им животными золотого века. Они остаются скорей их пастухами (ведь самое близкое подобие золотого века в буколической безмятежности), пригоняющими своих животных в виде удач, безопасности и богатства сменившему их племени. Специально названные «ἐπιχθόνιοι», *живущими на земле*, они не состоят ни в каких отношениях ни с олимпийскими, ни с подземными богами, гарантами порядка, меры, награды и наказания, разделившими «почести», т.е. сферы влияния. Они (или он, Ἄγαθος Δαίμων – число тут не имеет никакого значения, ведь и единственное δαίμων указывает в классическом греческом на неопределенность, а не на количество) обеспечивают некий минимум благополучия, свойственный существованию человеческого рода помимо частностей и достижений. Конкретизируется же их действие прежде всего в потомках (или скорей тенях?) их животных – бытовой утвари, предметах обихода и произведениях кулинарного искусства.

⁷ ...δαίμονες ἄγριοι ἐπιχθόνιοι... ἐσθλοί, ἀλεγειῶσαι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων, πλουτοδόται (Hes. Opp. 122–123, 126).